

Dr 63
A-56

*80-летию Бузулукского района
посвящается*

Лики родной земли



КАПЛИ МЕДА ЕГО ЖИЗНИ

Более четверти века тому назад во флигеле дома №128, что стоит и поныне на улице Льва Толстого, правда, уже без того флигиля, в одиночестве и страшной нищете умирал удивительный человек, интеллигент, каких вряд ли можно встретить сегодня, — Сергей Николаевич Колоярский, наиболее известный как учитель бузулукских художников.

Это у него учились постигать тайны карандаша и кисти Петр Краснов, Вячеслав Лукашов, Борис Никитин, Николай Колесников, Геннадий Чистяков, Сергей Есин, Виктор Кожевников, Юрий Павлов, искусствовед и известный художник... Всех даже трудно перечислить. Не зря, видно, те годы назовут позже эпохой Колоярского. Хотя жизнь разбрасает его питомцев по всему тогдашнему Союзу. Кто-то станет известным архитектором, кто-то художником, кто-то скульптором... Ему бы жить да радоваться, что птенцы гнезда его добились признания, а он...

В тот год, 1980-й от Рождества Христова, когда гуляла по городу неистовая выюга, а горожане отмечали Новый год, учитель скончался. Правда, никто не знает до сих пор, в какой это час случилось. Бушевали такие ветра со снегом несколько дней подряд, что вставали поезда. Трое суток по этой причине проторчал в Куйбышеве (ныне Самара) Вячеслав Лукашов, спешивший на похороны учителя из Москвы.

... В городском краеведческом музее, к великому счастью для потомков, сохранилось великое множество работ Колоярского. Думается, они будут востребованы, когда вновь появится у молодежи тяга к прекрасному. Сегодня ей, кажется, не до этого, она озабочена своим выживанием. Рассматривать же его наследие — одно удовольствие. Как будто небрежные, но точно схваченные черты женского лица, румянец щек и этот взгляд, прикрытый слегка тяжестью век, устремленный в собственную душу. Создается впечатление, что женщина к чему-то прислушивается. К самому сокровенному, к самому потаенному, чем нельзя поделиться ни с кем. Наваянный образ, а он рисовал всегда с натуры, не просто оживал, но и становился понятнее, доступнее, словно бы обнаженнее в своей человеческой сути.

Излюбленная манера Колоярского — рисовать карандашом и акварелью. И подписывать, ставя число, день

и год. Иногда он копировал библейские сюжеты, вкладывая в них свое мироощущение. И от этих рисунков исходила тогда будто сама вечность. Бестрепетная и бесстрастная.

Я пытаюсь представить, каким он был в той жизни, поскольку никогда не видел его, наши пути не пересекались, а лишь знаком в этой, когда образ учителя живет в людской памяти, в памяти его учеников, знакомых и близких. Есть еще фотографии учителя. Но они не всегда точно передают то, чем поглощен его ум, почти не раскрывают ход мыслей, они сиюминутны, так сказать, моментальное отражение его облика. Хотя иногда и в них видны большие, переполненные болью и тоской усталые глаза, взгляд которых говорит о мудрости интеллигента, но не о мудрости житейской. Всегда взъерошенные, жесткие и густые кудри, успевшие с годами превратиться из черных в пепельные. Иссеченное глубокими морщинами спокойное лицо, щеточка усов под большим с едва заметной горбинкой носом, чаще старомодная рубаха навыпуск, схваченная в талии тонкой веревочкой.

Мне посчастливилось услышать голос самого мастера — глуховатый с раскатом басок, его интеллигентный говор, почувствовать его гостеприимство, умение вести долгую, но захватывающе интересную беседу с гостями. И все благодаря кассете, чудом сохранившейся у Геннадия Чистякова, архитектора и художника, всегда с неизменной благодарностью вспоминающего своего учителя. «Дорогой Сергей Николаевич, — напишет позднее из Бреста Чистяков, — вы первый увидели во мне страсть к живописи, тонко и умело направляли ее в нужное русло. Хотя я и архитектор, но акварель прочно заняла место рядом и всегда будет источником наслаждения, доброй благодарности вам!»

Я словно бы присутствую на той беседе за чашкой чая. Гости вместе с хозяином в который раз рассматривают рисунки. Волнуясь, они с нетерпением ждут: а что скажет

учитель. Он внимательно смотрит, неторопливо оставляет чашку и столь же неторопливо проговаривает.

— Так... Желтовато-темный тон. Все выдержанно. Тут явно чувствуется влияние Бунина. Без всякого подчеркивания и любования. Самым естественным образом. А тут пошла темная краска. Все дело в ней. Кто управляет зеленью, тот постигает тайны ремесла.

И Колоярский вдруг начинает рассказывать о Ван Дейке, фламандском живописце, подчеркивая его тонкий психологизм, благородную одухотворенность, свойственную только ему.

— Вы задумывались над тем, как он это достигает? Он же играет тонами!

И головы собеседников поворачиваются то к акварелям, то к репродукциям старинного мастера, пытаясь осмыслить по-новому слова учителя. А тот, помолчав несколько минут, отпив глоток-два чаю, продолжает развивать свою мысль.

— Вот тут нет ничего лишнего. Самое главное преподнесено зрителю на тарелочке.

И переводя взгляд к другой репродукции, снова оживляется.

— Какой момент схвачен! Помилуй бог. Это же чудо! Теперь так не пишут. А как верно! Как матерьяльно!

И долго не пропадает блеск сияющих глаз на словно угрюмом лице. Он вновь делает глоток чаю, в задумчивости поглаживает подбородок, как будто пробует тщательность утреннего бритья, затем переводит взгляд на рисунки учеников.

— Нет, вот здесь, конечно, лучше. Гораздо лучше. Виктор, а Виктор! Совсем хорошая работа, — умел восхищаться учитель.

В этом сочетании «совсем» и «хорошая» чувствовалась тонкость педагогического такта. Позже, уже взрослыми, они поняли, что «совсем» означало не совсем хорошая, но лучше, чем было в прошлый раз. Этот незначитель-

ный рост в мастерстве преподносился так, что ребята расходились по домам, окрыленные собственными успехами. Откуда им было тогда знать о таких тонкостях, хотя мудрость учителя они угадывали интуитивно. А он уже переключался на Шаляпина.

— Вы не задумывались, друзья, почему человек, услышав в исполнении Федора Ивановича «Бориса Годунова», «Фауста» или «Псковитянку», как-то углубленней начинает понимать живопись? Какие струны в нашей душе трогает его волшебный голос? Конечно, то, что делает он на сцене, называется чудом. Именно оно пробуждает в нас лучшие чувства, обостряя их до предела и заставляя работать с максимальной нагрузкой.

Любил Сергей Николаевич такие часы, когда можно было откровенно поговорить об искусстве, о его воздействии на человека. За чашкой чая он отводил, что называется, душу с учениками и друзьями. Частым гостем в этом доме был Петр Степанович Филатов, литератор, и вообще человек образованный, хорошо знавший отечественную и зарубежную литературу, живопись, любивший классическую музыку. Видимо, это и роднило его с учителем. Кассета сохранила их голоса, беседы о высокой культуре России, почти незнакомой в провинции. Эти беседы, доходившие иногда до полемики, оказывались для гостей занимательным путешествием в мир Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Бунина. Хозяин дома недолюбливал Льва Толстого за его философию, но благоговел перед музыкой Моцарта, Шопена, Баха, Бетховена, Паганини. Мог часами слушать Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова. Любил старинные романсы в исполнении мастеров.

Все это энциклопедическое знание невольно передавалось ученикам, когда он размышлял над их рисунками, невозмутимо разглядывая детали, делал экскурс в наследие великих и возвращался к развешанным на стенке акварелям, карандашным наброскам.

— Да, — пробежав их взглядом и остановившись на облюбованном куске ватмана, — оживлялся он. — Здесь есть музыка. И самое ценное — она звучит.

Это было высшей похвалой ученику. Чтобы услышать такие слова из уст учителя еще раз, честолюбивому пареньку приходилось самозабвенно истязать себя в поисках сюжета и его исполнения, достойного внимания самого Сергея Николаевича.

Любопытное свойство проявлялось в учителе — соединять, казалось бы, несоединимое. И ради чего? Цель одна: пусть питомцы учатся видеть всю глубину окружающего мира, его добро и зло, красоту и уродливость. Он терпеливо открывает им новые горизонты еще неизвестного. А оно легче познается в сочетании самых различных видов настоящего искусства. Это его убеждение. Отсюда и метод подачи.

— Обратите внимание на музыку пушкинских стихов, — слышу его голос. — Чувствуете? А здесь, на полотне? Характеры рождаются в противоборстве. Свет и тьма. Кто выйдет победителем?

И вдруг неожиданный поворот.

— Да-да, небо и воду соединить трудно. Но вот тут удалось. Чудесно! Не побоялся взять синий цвет, и пошло... Темные тона тоже бывают опасны. А здесь светлая зелень, яркая на солнце, а дальше, в глубине между ветвей, особенно ближе к стволу, — уже мгла! Такой колорит, а всего два цвета — зеленый и коричневый, да два тона — светлый и темный! Вот она — тайна! Хотя никакой тайны нет. Все просто: кто управляет зеленью, тот постигает мастерство, что означает гармонию.

В другой беседе он как бы развивает тему мастерства.

— Ну-ну, посмотрим. Белые розы... Недурно, недурно. Нет, они не просто хороши, а изящно сделаны. Кажется, сама природа явилась сюда. Хотя мы понимаем, что ее копировать не следует. К счастью, здесь как раз тот самый

случай, когда этого не произошло. Поэтому они и привлекают наш взор.

Неожиданно учитель вспомнил автора, одного из талантливейших своих учеников — Бориса Никитина. Говорили, что он погиб на рыбалке. Только почему-то в это никто не верил. То было время, о котором поэт Евгений Курдаков, вынужденно прощаясь с Бузулуком, напишет щемяще осторожно:

Ночь и темь, город нем от мороза.

Каждый звук, как испуг, сразу вдруг,

Как далекий гудок паровоза,

Замыкающий времени круг.

Учитель всегда помнил, как за невинную шутку относительно строящегося социализма его отправили на каторгу, где с такими же острословами строил сызранский мост. Вернувшись оттуда едва живым, он сказал, что этот строй обречен, у него нет будущего. Но смысл его жизни оставался прежним. Он вкладывал душу, что, несомненно, всегда было его потребностью, в учеников, которые его боготворили. «Капли меда моей жизни, — говорил иногда он, — я всецело отдаю ученикам». Мед этот не иссякал. И признание достоинств питомцев, а их таланты вскоре начнут признавать и в Москве, и в Бресте, и в других городах СССР, невольно станет признанием и заслуг Колоярского. Его узнавали на улице, ему кланялись, слегка приподнимая шляпу, знатные товарищи из городского белого дома.

— А это кто, — спрашивали его ученики, провожая любопытными взглядами солидную и важную фигуру.

— Учился когда-то у меня этот оболтус, но толку из него не вышло. Бездарь, — отвечал Сергей Николаевич, — да к тому же ленивый и тупой.

Колоярский вел учеников на природу, к песчаным берегам Самары, откуда открывался живописный вид на Сухореченские горы, преображенные красками осени.

Учил ребят рисовать с натуры. Свои этюды, рисунки, картины, писанные маслом, он дарил знакомым, друзьям, ученикам. Другого пути к зрителю у него не было. При жизни в городе не состоялось ни одной выставки его работ. Рассказывают, что однажды отец одного из учеников, в знак особой благодарности за сына, художника и архитектора Владимира Кузнецова, твердо обосновавшегося в Москве, соорудил из сарая нечто вроде мастерской, крыша у которой была стеклянной. Называлась эта мастерская с почтением — студия Колоярского. В то время он уже не был учителем рисования, и ребята занимались у него. Студия находилась во дворе дома № 128. Но после смерти учителя ее снесли за ненадобностью, как и флигель, в котором он жил и умер.

Вообще последние годы учителя были неописуемо сложными. Тяжело и безнадежно болела верная спутница его жизни Серафима Константиновна. За ней нужен был не только уход, но и догляд — могла уйти «путешествовать» и не найти дороги домой. Единственное развлечение — жить воспоминаниями, перепиской со своими учениками, заботами о дочерях... Он писал письма в те часы, когда спала Серафима, иногда в несколько приемов. И в такие минуты считал необходимым поделиться прочитанным. «Какая чудесная у Н. В. Гоголя вторая часть, — читаю в письме 1978 года, с пометкой «суббота, 2 часа 30 мин. дня», — а кусочек о полковнике Кошкареве — пророчество гениального ума. Только такие некомплексовые, гоняющиеся за модой, зловредной для России, могли осуждать писателя. Их глупую недалекость вскрыла эпоха XX века». Великой тройкой в литературе он называл Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Они, утверждал он, основоположники настоящей русской литературы. Тройкой в русской живописи считал Сурикова, Васнецова, Нестерова. «Характерно, — писал он, — что этих по-настоящему великих людей всячески предают забвению, загоняют в тень, искажают в духовном меню

спившихся россиян». Еще один отрывочек из письма нельзя не упомянуть. Потому что в нем проглядывается непередаваемое чувство страшного одиночества интеллигента, задыхающегося в замкнутом пространстве. Вчитайтесь в эти фразы. Только сделайте это, не спеша, вдумчиво. Ибо смысл заложенного в эти ключевые строки пролетит мимо, и вы так и не сможете понять глубины трагедии жившего до нас человека, бродившего по этим улицам, любившим этот город и Россию. «С чувством глубокого умиления, даже до слез, я в минуты просвета, — когда не занят «домашностью» и надзором за Серафимой, — вспоминаю драгоценные два часа, что провели мы с тобой в святой и огромной мастерской Великого Виктора Михайловича Васнецова... У меня есть книга, там много, много интересного, характеризующего времена и нравы «до и опосля». Там, в одном из писем, рассказывается о похоронах Васнецова. Как какая-то «представительница» по искусству в какой-то своей книжонке «квалифицировала» такого мастера живописи и русского гражданина В. М. Васнецова как «сказочника», невидного сказочника. «Три богатыря» — это, по ее мнению, (ну, что вы скажете?) сказка. Сказка! И как бумага терпит такую блудню? Однако Сима проснулась...»

— Мечтаю о времени, — говорил учитель, — когда можно будет красить акварелью, а потом, может быть, посчастливится и на серьезное масло... Ну, как и что, никто не скажет... Эх, поговорить бы с кем перед моим заходом солнца...

И это тоже от одиночества. Вообще злой рок преследовал не только Колоярского, но и его учеников. Да, они добьются известности своим трудом, но кто-то из них погибнет еще при жизни учителя, другие умрут своей смертью, не дожив до возраста своего наставника, кто-то будет топить свой талант в вине и пиве... Каждому отмерен свой путь. А как он его пройдет, зависит от самого человека. Так нам говорят смолоду.

Одному из его учеников, которого учитель особенно одаривал теплом своей души, радовался его успехам, приснился сон. Будто учитель зовет его на небо. «Поднимаюсь, — рассказывает он, — по стеклянной, не то хрустальной лестнице высоко-высоко, вхожу на веранду и попадаю в его объятия, чувствую даже ребра. Он всегда худущий был. А внизу, как на ладони, все красоты бузулукской природы. Вот, думаю, не зря говорил учитель, что придет такое время, когда всюду все начнет рушиться от землетрясений и прочих катаклизмов, а здесь, на малой родине, будет самое безопасное место. Сюда, наставлял учитель, и съезжайтесь, где бы кто ни был. И слышу голос Сергея Николаевича: понравилась тебе моя мастерская? Я всю жизнь мечтал о такой. Пойдем, чайку попьем»...

Как-то с Геннадием Чистяковым, вернувшимся на родину лет 20 назад из Бреста, где стоит немало его архитектурных творений, зашли в городской краеведческий музей, куда в свое время он передал великое множество этюдов, рисунков, картин мастера. Для лучшей сохранности. Наследие представляло собой, главным образом, женские портреты. Учитель рисовал своих учениц, технику, друзей, преподавателей. Мы долго пересматривали уцелевшее наследие. Чем-то восторгались, над чем-то задумывались. Мне невольно припомнились строки одного стихотворения, которые нельзя здесь не привести. Оно вроде бы отражало дух прошлого и настоящего:

В карандаше, в нежнейшей акварели

Пылятся лики на музейной полке.

Вы их небрежно просмотрели,

Лист за листом беря из стопки.

Ну, что сказали вам портреты,

Эпохи славной, но ушедшей?

Я не про то, во что одеты,

Я про печаль в душе поющей...

Во мне почему-то засела эта «печаль в душе поющей». Как заноза. Ведь лица, изображенные учителем, были

с какой-то родственной тоской в глазах. Люди словно бы прислушивались то ли к себе, то ли ко времени, терпеливо и мудро чего-то ожидая. Но в том, что те люди делали, творили, создавали и строили, чувствовалась их душа. Она пела. Прошло столько лет, но нам и сейчас памятливы те песни. Своей лиричностью, чистой и высокой духовностью. Возможно, прав оказался поэт? Как мудр был и учитель? Кто знает. Колесо истории, набирая обороты, воздаст каждому свое. Глядишь, кто-нибудь увидит, может быть, напишет. Если, конечно, не зарастет травой забвения людская память.